

# Из истории философии науки

С. ФУЛЛЕР (Великобритания)

## ПОЛ ФЕЙЕРАБЕНД (1924—1994): ДАНЬ ПОЧТЕНИЯ

Осознание значения Пола Фейерабенда для истории философии XX в. приходило ко мне лишь постепенно. Его непочтительность к авторитетам и остроумие были популярны среди студентов и аспирантов, искавших отдохновения от разнообразных форм схоластики, царивших на нормальном философском семинаре. Должен признаться, однако, что я не был участником этого подпольного культа Фейерабенда. В конце 70-х — начале 80-х гг. я находил утешение в континентальных философах — Дерриде, Фуко, Альтюссере, Хабермаса, — которые были сущим проклятием для моих наставников из лагеря аналитической философии.



«Однажды Холличер спросил меня, не хочу ли я стать ассистентом Брехта... Я отказался. Теперь я думаю, это была одна из величайших ошибок в моей жизни. Обогащение и изменение знаний, эмоций, predispositions с помощью искусства теперь представляется мне гораздо более плодотворным и гуманным занятием, чем попытка влиять (только) на мышление и (только) посредством слова. И если сегодня лишь около 10% моих способностей получило развитие, то это обусловлено ошибочным решением, принятым мною в 25 лет.»

Пол Фейерабэнд.

«Наука в свободном обществе» (1978)

Я начал понимать Фейерабенда — особенно необходимость его стиля, — только когда сам превратился в профессора и стал регулярно соприкасаться с проявлениями претенциозности и ханжества в академической жизни. Теперь Фейерабэнд кажется мне тем, кем мог бы стать Ницше, переживи он отрицательный отзыв Виламовица на свою первую книгу («Рождение трагедии») и останься в стенах академии до конца жизни. Кто-то, может быть, скажет, что, с точки зрения последующих поколений, в преимущественном положении оказался не Фейерабэнд, а Ницше. Именно то, что Ницше отнесся к выражению неприятия со стороны своих ученых коллег столь серьезно, возможно, и сделало его критический взгляд более пронизательным по сравнению с Фейерабэндом, чья комическая, театральная манера, казалось, всегда ускользала от внимания цензоров от академии. Как бы то ни было, тот факт, что Фейерабэнд всегда держал в поле зрения четко определенные мишени — конкретных философов и ученых, придавал его работе специфичность, отсутствовавшую в более пространственных диатрибах Ницше. Однако читателю решать, чьи риторические приемы могут оказаться более долговечными.

Хотя Фейерабэнд начинал свою философскую карьеру, исследуя метафизические и эпистемологические основания физики, я не вижу резкого разрыва между духом этих ранних работ и тем «эпистемологическим анархизмом», который принес ему известность позднее. Главное, что сле-

дует в связи с этим иметь в виду, — это то, что Фейерабенд неизменно представлял себя в качестве диалектического мыслителя, т. е. того, кто всегда берет в качестве отправной точки исходные посылки своих оппонентов и доводит их до логического завершения, какими бы крайностями это ни было чревато. Но в отличие от многих других философов, придерживающихся этой стратегии, характерной чертой Фейерабенда было то, что он принимал логику всерьез и защищал дикие выводы.

Но кто же были основные оппоненты Фейерабенда? После выхода книги *«Against Method»*\* в 1975 г. и внезапного превращения Фейерабенда в знаменитого интеллектуала, более всего, пожалуй, его осаждали последователи Карла Поппера и Имре Лакатоса, желавшие и объявить его «своим», и в то же время отречься от него. Однако до разрыва Фейерабенда с попперианцами его главными противниками были позитивисты, а также ученые, которые поддерживали позитивистский тезис, что теория есть замкнутая аксиоматическая система, своего рода формальный язык, состоящий из грамматически правильных комбинаций первичных элементов. Если принимать это положение серьезно — совершенно серьезно, — то представляется маловероятным, что некоторая теория, созданная в одном месте и/или в одно время, может быть перекодирована и тем более редуцирована к другой теории, созданной в другом месте и/или в другое время. Каждая теория будет основываться на своем собственном наборе аксиом, т. е. на простейшем наборе исходных принципов, необходимых для выведения тех следствий, ради которых эта теория создавалась. Достаточно одного этого довода, чтобы породить пресловутый «тезис о несоизмеримости» различных теорий.

Как же в таком случае следует рассматривать отношения между двумя теориями, области действия которых частично перекрываются? Если термины «перекодировка» (*translation*) и «редукция» (*reduction*) оказываются непригодными для выражения этих отношений, то в каких же терминах их *подобает* рассматривать? Начиная со своей диссертации 1951 г. о роли обыденного опыта в физике; позднее в работе, посвященной опровержению редукционной модели изменения научного знания Эрнеста Нагеля (*«Explanation, Reduction, and Empiricism»*, 1962\*\*); наконец, в своей защите альтернативных познавательных традиций (в книге *«Science in a Free Society»*, 1978\*\*\*), Фейерабенд неизменно обрисовывал два варианта. С одной стороны, мы можем считаться с автономностью обеих теорий, предоставляя каждой из них возможность развивать ее собственный потенциал до тех пор, пока он не наносит ущерб потенциалу развития другой теории. С другой стороны, мы можем попросту отбросить одну из них в пользу другой и действовать так, как если бы первой теории никогда не существовало, разве что в качестве предвосхищения второй. Фейерабенд опасался, что в интересах «прогресса» позитивисты и их последователи среди ученых предлагают нечто, мало отличающееся от подслащенной версии второго варианта, который он полагал интеллектуальным эквивалентом подавления политического инакомыслия.

Диссертация Фейерабенда об опытных основаниях (*experiential foundations*) физики уже указывала на эти опасения. Нильс Бор утверждал, что в понимании квантово-механических явлений мы никогда не сможем выйти за рамки обыденного опыта. Подобно многим другим физикам, следовавшим за Кантом, Бор считал, что обыденный опыт\*\*\*\* был формально кодифицирован ньютоновской

\* См. русский перевод: Фейерабенд П. Против методологического принуждения // Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 125—466. (Здесь и далее — примечания переводчиков.)

\*\* См. русский перевод: Фейерабенд П. Объяснение, редукция и эмпиризм // Там же. С. 29—108.

\*\*\* См. русский перевод отдельных разделов: Фейерабенд П. Наука в свободном обществе // Там же. С. 467—524.

\*\*\*\* Т. е. то, что «проявляется в структуре наших привычных точек зрения и форм восприятия» (Bohr N. Atomic Theory and the Description of Nature. Cambridge, 1932. P. 1.).

механикой. Следовательно, ему представлялось, что физики должны будут всегда выражать свое понимание микрофизической реальности либо в терминах «волн», либо в терминах «частиц», имеющих в распоряжении ньютоновского мировоззрения, однако никогда не смогут прийти к какой-либо «объединенной» модели этой реальности. Основная проблема, которую увидел в этой точке зрения Фейерабенд, периодически поднимается в его позднейших сочинениях. По существу Бор соединял собственные взгляды и взгляды стороннего наблюдателя (*first and third person perspectives*) на физические явления таким образом, что создавалось впечатление, будто ньютоновская механика выражает — а следовательно, и может заменить, — данные повседневного опыта. Но хотя физикам, возможно, и в самом деле кажется «естественным» видеть мир сквозь призму ньютоновской механики, этот факт связан скорее со спецификой получаемой ими подготовки — которая доводит «ньютонианские реакции» до автоматизма, — нежели с якобы более точным «соответствием» ньютоновской механики структуре рядового опыта. В самом деле, некоторые психологи, например Пиаже, утверждают, что рядовой опыт имеет имплицитно «аристотелианскую» структуру. Но поскольку «рядовые» люди не полномочны критиковать то, что физики думают о своем опыте, Бор может с уверенностью высказываться о «трансцендентальных условиях» физического опыта.

Таков контекст, исходя из которого мы должны рассмотреть поддержку Фейерабендом «исторического уклона» в философии науки. При этом, в отличие от Томаса Куна, Фейерабенд не противопоставлял «историцизм» «презентизму», или «историю ради себя самой» — «истории ради нас». Вместо этого Фейерабенд следовал примеру Эрнста Маха в прокладывании среднего пути. Несмотря на свою репутацию «крестного отца» логического позитивизма, в интеллектуальном плане Мах был гораздо ближе к Фейерабенду, чем, скажем, к Карнапу, — в особенности когда дело касалось использования прошлого для того, чтобы бросить вызов настоящему. Часто забывают, что свой *magnum opus* 1883 г. «Механика в ее развитии» Мах снабдил подзаголовком «историко-критический очерк». В девятнадцатом веке выражение «историко-критический» звучало особым смыслом, который Фейерабенд адаптировал для аудитории века двадцатого.

Это выражение обозначало характерный для Просвещения подход к истории религии, который в Германии девятнадцатого века ассоциировался с трудом Давида Фридриха Штраусса «Жизнь Иисуса». Повторяющейся темой подобных «критических историй» было то, что христианство мистифицировано церковными стараниями подавить историчность Иисуса. Должным образом восстановленный исторический облик Иисуса показал бы, среди прочего, то, что Иисус был несовершенным (но, как следствие, становился ближе людям), что его учение следует рассматривать в качестве универсального (а следовательно, не как собственность какой-то одной религии), и что исторические свидетельства неоднократно подвергались модификации ради поддержания церковной власти. Новаторство Маха состояло в приложении этого взгляда на историю христианства к истории науки.

«Универсальная миссия» науки, которая, по мнению Маха, всегда встречала сопротивление со стороны институциональных структур, состоит в том, что наука прогрессирует лишь в качестве экономического отклика на доселе неудовлетворенные потребности человека. Соответственно, Мах поддерживал преобладающий взгляд на Галилея как на человека, которому удалось не допустить того, чтобы теология преградила ему возможность прямого контакта с природой. Однако Мах дерзнул продолжить эту линию рассуждений до современности, указывая на то, что институциональная структура самой физики — в особенности, ее настойчивое требование единого теоретического курса (*uniform theoretical orientation*) — препятствует научному прогрессу. В качестве свидетельства Мах привел фундаментальные возражения против ньютоновской механики, которые оставались в его дни столь же весомы, как и в то время, когда они были впервые

выдвинуты почти двумя столетиями раньше, однако замалчивались в процессе профессиональной подготовки физиков. Наиболее известные из этих возражений касались существования абсолютных пространства и времени, эфира, атомов и даже самой массы.

В период между 1908 и 1913 гг. Мах участвовал в прогремевшей серии дебатов с тогдашним главным выразителем умонастроений германских физиков Максом Планком. В их результате Мах, который пользовался признанием среди ученых многих специальностей, был фактически подвергнут ostracismu в сообществе физиков. Планк открыто признал, что прогресс в физике категорическим образом опирается на общепринятую интеллектуальную установку (*common mind-set*), которую Кун позже назовет «парадигмой». Историко-критические экскурсы в духе Маха лишь отвлекут внимание сообщества от решения насущных проблем, растрачивая его силы на возобновление дискуссий минувших дней. Мах, со своей стороны, высказывал озабоченность тем, что физика не только требует общепринятой интеллектуальной установки среди посвященных, но что она также требует наличия непосвященной публики, уже принявшей на веру многое из того, что сами физики пока еще рассматривают в качестве гипотез. Планк признавал, что известный «массовый инструктаж» в области теоретических представлений ядерной физики является необходимым для культивирования граждан, которые были бы склонны оказывать поддержку физическим исследованиям даже в том случае, если они не будут приносить никакой явной практической выгоды.

Несмотря на то, что Планк, как известно, весьма скромно оценивал революционное значение теории относительности и квантовой механики в долгосрочной перспективе, его беспокойство по поводу сокращающейся отдачи от капиталовложений в науку звучит вполне современно. Планк считал, что критическая история науки Маха окажет разлагающее влияние на будущие поколения ученых, оставляя у них впечатление, что почти все интересные научные результаты родились вследствие разрыва с признанными исследовательскими нормами и маргинализации оппонентов, а вовсе не вследствие того, что творцы этих результатов опирались на достижения своих коллег и подчинялись их мнению. Планк, наверное, увидел бы товарища в Куне, который также придерживается убеждения о необходимости отделять историю науки, которую делают профессиональные историки, от ее более «оруэлловской» версии, которую рассказывают ученым в ходе их профессионального обучения. Как и Планк, Кун осознал, что трудность «решения головоломок», которым занимаются «зрелые» науки, обусловлена не какими-то особыми эпистемологическими глубинами, а просто тем, что единственно приемлемые решения должны одновременно удовлетворять беспрецедентному числу технических ограничений. И поскольку стимулирование столь искусственных процедур представляется явно нелегким делом, то и Планк, и Кун утверждают необходимость того, чтобы практикующим ученым преподавалась особая вдохновляющая версия истории их дисциплины.

Но Мах был свободен от заинтересованности в том, чтобы научные исследования продолжались до бесконечности. Для него не существовало проблемы в том, чтобы представить себе, что может наступить день, когда продолжение поддержки фундаментальных исследований изживет себя в силу отсутствия адекватной практической отдачи. И реакция на критическую историю как самих ученых, так и широкой публики позволяла бы судить о наступлении такого дня не хуже любого другого критерия. В этом пункте Фейерабенд расходится с Куном и следует по стопам Маха. В то время как Кун полагает деятельность по разгадыванию головоломок, характерную для «нормальной науки», достойной защиты, Фейерабенд расценивал бесконечное продолжение нормальной науки как нечто подозрительное. Его отношение к самоподдерживающемуся процессу научного исследования ничем не отличалось от отношения борца за гражданские свободы к самоподдерживающейся программе социального обеспечения: ученые могут делать все, что им нравится, руководствуясь при этом какой им будет угодно ло-

гикой, — но лишь до тех пор, пока их деятельность не станет чрезмерным бременем для налогоплательщиков. И если Кун тактично обходит молчанием все вопросы, связанные с материальными затратами, которых требует поддержание науки в ее «зрелой» фазе, то Фейерабенд отказывался молчать об этом. Как и Мах, Фейерабенд понимал, что единственный способ, позволяющий развитым наукам продолжать свои дорогостоящие и большей частью контринтуитивные исследования, состоит в том, чтобы убедить новичков в достоинствах этих исследований, прежде чем они станут достаточно зрелыми, чтобы поставить свои достоинства под сомнение.

В последние десятилетия своей жизни Фейерабенд приобрел широкую известность своими призывами к «отделению науки от государства», сопоставимому с отделением церкви от государства, гарантированным Конституцией США. Практическим выражением этих призывов было то, что он выступал за преподавание в общественных школах альтернативных научных традиций — в частности, креационистской биологии. В этой связи вновь оказывается поучительным прецедент, созданный Махом, — который позволит нам понять действия, заставившие многих «профессиональных» философов науки с презрением отмахнуться от Фейерабенда. Подобно большинству шепетильных в вопросах морали немцев своего поколения, Мах был озабочен проблемой «академической свободы». Сегодня мы истолковываем это понятие в смысле позволения профессорам выбирать тематику исследований по своему усмотрению, однако во времена Маха главной заботой было избавление студентов от упреждающего влияния на их умы профессоров, использующих учебную аудиторию как место, где они могут придавать гипотезам убедительность факта. Наиболее красноречивым выражением этой заботы, дошедшим до нас из тех времен, остается обращенная к аспирантам речь Макса Вебера «Наука как призвание и профессия»\*.

Мах подозревал, что многие германские политики были склонны верить в неизбежность «тотальной войны» потому, что они находились под чересчур сильным впечатлением от метафизической атрибутики ньютоновской механики. Разговор о «массах» и «силах» в физике быстро выплескивался в акцентирование своего «я» и «воли» в сфере международных отношений. Подобным же образом и Фейерабенд был озабочен тем, что гипотеза об эволюции путем естественного отбора может «дать лицензию» на любые виды морально предосудительного поведения, как это делал социальный дарвинизм уже во времена Маха. Интересно, однако, что Мах и Фейерабенд расходились в своих педагогических рекомендациях. Мах настаивал на том, чтобы большинство умозрительных научных теорий были вынесены за рамки общеобразовательных курсов, дабы студенты могли сосредоточить свое внимание на тех способах, посредством которых наука способна повысить эффективность процесса осуществления их собственных внеучебных целей. Таково было педагогическое приложение его философского «инструментализма». Вопреки этому, Фейерабенд призывал не к тому, чтобы ограничить роль теории в учебном процессе (ее «инструментальным» значением), но — к «пролиферации», т. е. умножению числа альтернативных друг другу теорий, дабы студенты имели возможность сравнивать их сами для себя.

Разумеется, Мах и Фейерабенд обращались к различным моментам в истории отношений между наукой и остальным обществом. Так, упомянутая дискуссия между Махом и Планком была в значительной степени вызвана состоявшимся незадолго до нее включением естественных наук в программу немецких средних школ, что рассматривалось как попытка «модернизировать» Германию путем сплочения ее народа в единый трудовой коллектив. Все еще оставались открытыми вопросы о том, в каком объеме следует преподавать науку, какими спосо-

\* См. русский перевод с сокращениями: Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избранные произведения. М., 1990. С. 707—735.

бами это делать и в какой обстановке. Однако к тому времени как Фейерабенд обратился к отношениям между наукой и обществом более полувека спустя, преподавание науки успело получить грандиозное развитие в крупнейших мировых державах, самым последним толчком к которому явился запуск Советским Союзом первого искусственного спутника. И хотя было безумием надеяться на то, что наука может быть исключена из учебных программ на этой стадии, пожалуй что не было ничего безумного в том, чтобы представить науку в качестве участницы происходящего в учебных аудиториях турнира, в котором ей будет противостоять, к примеру, креационистская биология.

Но какие же именно приложения в плане практической политики подразумевал подход Фейерабенда к науке, акцентировавший необходимость отделения ее от государства и развенчания ее нынешнего авторитета? Я не думаю, что он когда-либо вполне уяснил эти приложения для самого себя. Что же касается комментаторов Фейерабенда, то к добру ли, нет ли, но их внимание было больше сосредоточено на факте его выступлений в поддержку астрологии, знахарства и креационистской биологии, нежели на вопросе о том, почему он полагал важным поддерживать эти контрнаучные движения. Проблема здесь, как я ее вижу, может быть представлена в виде риторической фигуры: как можно оставаться философом науки, не превращаясь в философа для науки? К примеру, когда креационисты занялись организацией политической поддержки своих притязаний на то, чтобы их взгляды преподавались в курсах биологии средней школы, некоторые из американских философов науки — в частности, Майкл Рьюз и Филип Китчер — откликнулись высказыванием «мнения специалистов» о сущности науки и созданием книг, призванных продемонстрировать, почему креационизм не удовлетворяет основным критериям научности. Фейерабенд же, со своей сто-



П. Фейерабенд у себя дома в Беркли. «Почему мне нравится этот плакат с Кинг-Конгом? Да потому, что я сочувствую бедняге. Жил он себе мирно, никому не мешал, а тут появились эти умники и искалечили ему жизнь. К тому же это просто красивый рисунок».  
(Из интервью журналу «Science», 1980 г.)

роны, никогда не мог понять, как философы оказываются способными с такой легкостью подрядиться в качестве идеологов, стоящих на страже господствующих познавательных установок. В самом деле, при иных обстоятельствах эти же философы критиковали те самые критерии, основываясь на которых, они ратовали за исключение креационизма из разряда того, что можно считать наукой.

Поддержку Фейерабендом креационизма следует, таким образом, рассматривать не столько как заявление о его познавательных достоинствах, сколько как *мета-утверждение* о тех обстоятельствах, в контексте которых его надлежит оценивать. Фейерабенд не считал, что философы должны упреждать решение граждан о том, надо ли обучать их детей креационизму. Убедившись, однако, что удержать философов от предоставления своих услуг на идеологическом поприще невозможно, он счел, что ему не остается ничего иного, кроме как попытаться сквитать счет, «сделав, — как говорили древнегреческие софисты, — более слабый аргумент более сильным». Но здесь нам надо вспомнить исходный смысл этого изречения. А смысл этот заключался вовсе не в одобрении изворотливости в философском рассуждении или даже философского релятивизма, но в указании на то, что относительная сила аргумента будет зависеть от тех обстоятельств, в которых он высказывается. Так, научный аргумент будет казаться убедительным, коль скоро ученым будет предоставлена возможность высказываться на своем дисциплинарном жаргоне и в отсутствие возражений, вдобавок окружив себя образчиками суперсовременного оборудования. Однако в том случае, если они будут вынуждены выйти на публичную дискуссию и обращаться к слушателям на более доступном им языке, а слушатели получают возможность задавать вопросы, то те же самые ученые, возможно, уже не будут выглядеть столь впечатляюще. Вопрос, стало быть, заключается в том, какие обстоятельства считать уместными для оценки науки. Ответ будет зависеть от того, какую политику принятия решений в обществе исповедует отвечающий, — а Фейерабенд был сторонником политики демократической. Коротко говоря, мы приходим к тому, что проблемы философии науки не могут быть решены, пока оставлены без внимания проблемы политической философии.

К сожалению, оценить взгляды Фейерабенда на этот счет не так уж просто. Трудность восходит к обоснованию им тезиса о несоизмеримости посредством постулирования изолированности различных теорий и традиций друг от друга, их самодостаточности (*self-contained character*). Это представление, унаследованное им от логического позитивизма, ограничивало замысел и размах критики в рамках той демократической политики, которой предположительно придерживался Фейерабенд в отношении науки. Хотя Фейерабенд периодически ссыался на Джона Стюарта Милля как на предшественника своих политических взглядов, следует подчеркнуть, что Миллю не было свойственно ценить разнообразие точек зрения само по себе. Скорее, он рассматривал разнообразие как лучший способ стимулировать открытое столкновение существующих в обществе идей, которое с наибольшей вероятностью может привести к истине или, по крайней мере, сделать общество более просвещенным в познавательном плане. Ключевое положение, из которого исходил Милль, — но которое отрицал Фейерабенд, — состояло в том, что участники публичных дискуссий могут изменять точки зрения друг друга, и что такие взаимные изменения точек зрения в ходе публичных дискуссий представляют необходимое условие приближения совокупного общественного мнения к истине. В качестве результата этих изменений Милль представлял себе не полную замену одной точки зрения другой, а скорее некоторую диалектически обговоренную позицию (*dialectically negotiated position*), которая может сильно отличаться от исходных взглядов полемистов.

Несмотря на то, что Фейерабенд был, несомненно, талантливым полемистом, он, по-видимому, соглашался с Куном в том, что научные споры приносят больше пользы сторонним наблюдателям, чем преданным своим идеям участникам этих споров. Я имею ввиду тезис Куна об «эффекте Планка», а именно, его

идею о том, что новая парадигма одерживает верх лишь после того, как вымирают защитники старой. Таким образом, по-настоящему участники научного спора состязаются за преданность их идеям следующего поколения ученых. Сами же спорщики никогда не меняют своих убеждений. Характерный для самого Фейерабенда образчик признания им этого тезиса фигурирует в его описании Галилея как человека, который был «неправ» по меркам своего времени, но чьи аргументы были в действительности обращены к позднейшим ученым, сумевшим подтвердить их. Урок, извлеченный Фейерабеном из этой истории, состоял в том, что методологические догмы не устанавливаются навечно. Однако механизм смены догм оставался для него таинственным, и он, случалось, даже указывал в качестве ответа на «научный реализм».

Эта апория во взглядах Фейерабенда наводит меня на мысль, что он едва ли верил в силу того, что Аристотель называл «совещательной риторикой», т. е. аргументацией, предназначенной воздействовать на текущие политические решения. Там где можно было бы ожидать увидеть эскиз такой риторики в качестве элемента демократической политики в отношении науки, Фейерабеном вместо этого излагал критические истории, в которых изначально более слабый аргумент оказывался в конечном итоге сильнейшим, обыкновенно по прошествии долгого времени после того, как эти аргументы были выдвинуты. Что же, с точки зрения Фейерабенда, мог сделать философ в краткосрочной перспективе, так это, по-видимому, предоставить соперничающим точкам зрения равные шансы, создавая условия для справедливой борьбы. Таким образом, поддержку Фейерабеном различных «альтернативных» учений, по-видимому, правильнее всего рассматривать в качестве своего рода компенсации за несправедливые преимущества, которые имеют в обществе ортодоксальные формы познания. Но какие же преимущества являются «несправедливыми», а какие — «заслуженными»?

Отсутствие у Фейерабенда определенности в отношении этого последнего вопроса соотносится с тем, что его понимание демократии поистине решительно отличается от миллевского. Фейерабеном не обладал свойственным Миллю сильным ощущением публичного пространства — форума, где каждый гражданин регулярно оказывается перед необходимостью отстаивать свои соображения в присутствии сограждан. Напротив, его понимание демократии было куда более сродни руссоистскому, выражаясь в стремлении предоставить каждой самоорганизующейся группе право придерживаться своей собственной формы исследования. Инакомыслящим предлагается просто-напросто покинуть группу и образовать другую. Можно даже утверждать, что единственная функция, которую признавал Фейерабеном за миллевским публичным пространством, состояла в том, чтобы помогать всем группам отстаивать свою автономию от противоестественного давления со стороны государства.

Например, Фейерабеном считал, что физика высоких энергий и прочие формы «большой науки» процветают лишь потому, что с граждан собирают налоги, не спрашивая их при этом, как следует потратить их деньги. Представляется вероятным, что если бы граждане имели возможность высказать свои разнообразные мнения на этот счет, то был бы положен конец такому положению дел, когда финансирование сосредоточивается в немногих дорогостоящих проектах, занимающих господствующее положение в современной науке. Но поскольку Фейерабеном рассматривал такого рода публичный форум как часть общей стратегии отделения идеологий от государства, остается неясным, сколь долго будет сохраняться необходимость в общественных дебатах государственного масштаба. Не получится ли так, что процедура принятия решений попросту перейдет к ряду руссоистских демократий, которые заменят государство? Если одной из таких групп хочется, чтобы курсы биологии включали преподавание креационизма, а другой — дарвинизма, то был бы Фейерабеном за то, чтобы просто предоставить каждой из них поступать по-своему? Я думаю, ответом на этот вопрос будет «да». Стало быть, для Фейерабенда угасание государства означало бы также за-

кат того, что Милль, Дьюи, Поппер или Хабермас определили бы как «критическую рациональность» в публичной дискуссии.

Есть одно место, где, как мне кажется, эти умонастроения Фейерабенда выходят на передний план, — а именно, введение, написанное им к третьему изданию книги *«Against Method»*, опубликованному незадолго до его смерти. К тому времени Фейерабенд уже имел возможность ознакомиться с Ротшильдовской лекцией Куна в Гарварде (1991 г.), озаглавленной «Неприятность в исторической философии науки». Как оказалось, «неприятность», о которой шла речь, связана с так называемой социологией научного знания\*. И Фейерабенд согласился с Куном в том, что социологи, пытаясь критиковать или «демистифицировать» естественные науки, были столь же неправы, как были неправы ученые-естественники по отношению к социологии. Иными словами, Фейерабенд не приветствовал современный ренессанс социологии знания как возможность междисциплинарной критики — а может быть, и более широкой критической рациональности. Напротив, он увидел в этом ренессансе еще одну угрозу осуществлению познавательной деятельности автономными дисциплинами.

Исходя из сказанного выше, я хочу высказать мысль, что демократическая политика Фейерабенда в отношении науки держится на некоторых неподкрепленных доказательствами интуициях по поводу того, что составляет «естественное» сообщество, и что является «противоестественным» давлением на действия такого сообщества. Так, Фейерабенд нередко говорил, что «большая наука» искусственно поддерживается за счет того, что государство имеет возможность подавлять людей, которые иначе могли бы поддерживать какую-то альтернативную научную практику. Но даже не будучи подкрепленными доказательствами, подобные интуиции Фейерабенда звучат привычно. Совершенно очевидно, что предметом его заботы являются такие классические принципы демократии, как управление через согласие управляемых и распространение социальных последствий только на тех лиц, которые участвовали в принятии исходных решений. Однако подобно тому, как наука претерпевала изменения в ходе истории, так же претерпевали их и представления о «естественных» и «искусственных» формах общественной жизни. В этой связи может оказаться поучительным сопоставление взглядов Фейерабенда со взглядами человека, также родившегося в Вене и также эмигрировавшего в Соединенные Штаты, — а именно, феноменолога Альфреда Шюца.

Шюц, наверное, более всего известен как родоначальник представлений о «социальном конструировании реальности», популяризованных в конце 1960-х гг. знаменитой одноименной книгой Питера Бергера и Томаса Лукманна. Но несмотря на то, что имя Шюца как бы вписалось в «прогрессивную» родословную социал-конструктивизма, его философский проект был в действительности посвящен разработке феноменологических основ современного общества, с особым вниманием к центральной роли, которую играет в нем рыночная экономика. В этом отношении Шюца можно рассматривать как мыслителя, шедшего сходными путями не только с Максом Вебером, но и с Фридрихом фон Хайеком. В контексте наших рассуждений представляется важным сочинение Шюца 1932 г. «Хорошо информированный гражданин: эссе о распределении знания в обществе». Как и Фейерабенда, Шюца интересовало выявление «естественных» пределов познавательной автономии рядового гражданина. Однако, в отличие от Фейерабенда, Шюц видел большую угрозу не в искусственном ограничении этой автономии, но в ее искусственном *расширении*. Шюц имел в виду внедрение шагающих рука об руку радио и опросов общественного мнения. Эти нововведения, считал он, создавали обманчивое впечатление непосредственной связи между

\* Ряд аспектов социологии научного знания обсуждается в статье Джозефа Роуза «Что такое культурологические исследования научного знания?» (ВИЕТ. 1994. № 4. С. 23—41.).

широкими массами и государственными делами, которое, в свою очередь, повышало уровень политической нестабильности в мире.

Очевидно, что представления Фейерабенда и Шюца о «естественном» развитии демократии радикально различались. Оба мыслителя реагировали на масштабы и сложность современных обществ, и особенно на невозможность для индивидуума хоть как-то управляться со всем их «хозяйством». Что касается Шюца, то он считал наступление «большой демократии» естественным процессом, результатом функциональной дифференциации общества на специализированные формы познания, каждой из которых присущ свой собственный способ восприятия и описания мира. С его точки зрения, было «неестественно» полагать, что кто-то мог бы высказывать разумные суждения о всех этих различных сферах, основываясь лишь на слушании радио. Некогда свойственные Шюцу умонастроения, несомненно, продолжают бытовать среди защитников «корпоратистских» подходов к демократическому управлению. В противоположность этим взглядам Фейерабенд утверждал, что сама «большая демократия» является искусственным продуктом, результатом концентрации власти и капитала в руках нескольких групп, которые затем придумывают жаргоны, затем являющиеся для остального общества содержанием их деятельности. По представлению Фейерабенда, для возвращения к «естественной» демократии следовало бы разделить людей на более мелкие группы, а не разделять их сферы познавательной автономии на более узкие области.

Очень жаль, что Фейерабенд, обращаясь к политической философии для выявления изъянов философии науки, так и не сделал следующего шага в смысле реальной разработки такой политической философии, которая подошла бы вплотную к проблеме конкурирующих представлений, — фигурирующей, к примеру, в философии Шюца, — о распределении знания в современном обществе. Мой собственный проект «социальной эпистемологии» в значительной степени посвящен именно этой проблематике. Важный урок, который я извлек из упомянутой неудачи Фейерабенда, состоит в осознании того, что не может быть адекватной нормативной теории науки без *содержательного* описания того, что классические философы называли «благим обществом». При всем множестве разногласий Фейерабенда с позитивистами и попперианцами, он был подобен им в том, что точно так же сосредоточивал свое внимание исключительно на *процедурных* решениях проблем науки в обществе. Например, мы, возможно, сочли бы дурным даже такое положение вещей, когда несколько частных инвесторов изъявили бы желание финансировать какой-то проект в области физики высоких энергий, который правительство посчитало слишком дорогостоящим или непопулярным. Смог бы Фейерабенд что-либо возразить против такой возможности? Только в том случае, если бы он имел какие-то общие соображения по поводу капиталистических инвестиций, — а таковых у него не было. Однако сетовать на это — все равно что жалеть, что Фейерабенд не был Марксом, — а впрочем, быть может, нам еще потребуется переоткрывать Маркса в двадцать первом столетии.

Перевод с английского Д. А. Баюка, А. Ю. Стручкова

## От редакции

Автор этого очерка, Стив Фуллер, — профессор социологии и социальной политики Даремского университета. Образование в области философии науки получил в США. Является основателем и выпускающим редактором журнала «*Social Epistemology*». Автор трех книг, последняя из которых — «*Philosophy, Rhetoric and the End of Knowledge: The Coming of Science and Technology Studies*» (1993). Сейчас работает над книгой, посвященной источникам и влиянию «Структуры научных революций» Т. Куна. Настоящий очерк был написан С. Фуллером по просьбе редакции ВИЕТ.